

Николай Фотьев

## ШИПОВНИК

До подъема далеко. Пашка лежит на втором этаже барачных нар, ворочается, скрипит досками, шебуршит соломой в матрацовке, часто и досадливо поправляет подушку. Под ним на нижних нарах посапывает Васька Монин. Сладко спит Васька, спокойно. Позавидуешь. А сбоку Леша Хряпов меха раздувает. Этот вообще, где бы ни приткнулся, враз засыпает. Даже в карцере.

У Пашки и раньше сон сторожкий был, а как узнал, что начальник отряда подал бумагу на досрочное освобождение, так и вовсе сон пропал. А трезво подумать: что толку от переживаний? Все равно так будет, как прокурор решит. С вечера заснул, правда, да вдруг будто пружиной подбросило, страхом обдало и тревогой. И потекли опять думы, тоска зашевелилась. Тошно. Нервы слабые, что ли? Двадцатый день ждет, что будет.

Нет уж, никуда от дум не денешься. Раз дано человеку думать, то и думай, работай головой. По ниточке, по крупице перебирает Пашка свою жизнь. Так и этак ставит себя. Со стороны, сверху, снизу смотрит — кто он? Завтра... нет, сегодня уж — дело к утру, — будет суд. Прокурор прибыл, с делами познакомился. Всякие вопросы быть могут, каких и не ждешь. И ответить надо умно, не как в тот раз, два года назад. Тогда Пашка даже от защиты отказался. Не виноват, мол, и докажу, что не виноват. А сам запутался, да еще развел всякую бодягу с обидами. Получились одни эмоции. Дали три года, как лёда...

Интересно, кем бы сейчас был Пашка Тримасов? Может, помощником капитана, может, даже капитаном какой посуды, например, теплохода «Алмаз». А, может, геодезистом. Геодезия хорошо шла. Как-то на практике даже землестроителю помог. Свои речные расче-

ты на сельском ландшафте применил — и точно получилось. Точней, чем у землемера.

В речном училище Пашка доучивался. Была весна — пора надежд, пора волнений, как сказал поэт. Разъезжались на практику. Все свои собрались в ресторанчике. Дело было как раз на той станции, с которой в разные стороны разъезжаться. И станция и городок родные, те самые, где вырос Пашка и где бабка до сих пор живет. Ну, выпили. Расшумелись. А тут подходит какая-то личность и приказывает выметаться. Это как же так — выметаться?! Обидно, конечно. Слово за слово, а потом Пашка — и сам не помнит, как получилось, — и съездил ту личность по сусалам. Умел драться, с детства еще. Да в училище в боксе поднатаскался, первый разряд имел. Личность — брык и салазки вверх. Да, вот так получилось...

Дали три года. Убиваться, правда, некому было. Старший брат на Камчатке жил. И не знал ничего. Сеструха Зинка, у которой Пашка жил, вроде бы даже сторону суда приняла. Так, мол, и надо — приструнить вовремя, а то больно уж вольный. Пашка не обиделся. У Зинки свое, у него — свое. А знала бы, чем суд обернется, может, и заступилась бы. В лагере не мед. Пашка чуть было не свихнулся тут, от обиды, да схватился вовремя. Понял. И зарок дал остаться человеком. Хотя почему «остаться», — лучше стать...

Тогда, перед судом, больше всего хотелось увидеть среднего брата, Вальку. С Валькой неплохо жили. Бывало, вдвоем против десятка стояли. Спина к спине и — пошел отмахиваться. Оба рослые, плечистые. Правда, характера разного — очень даже разного. Валька молчун. Редко слово скажет, зато не зря. А Пашка спорить горазд и заводной больно. Сам понимает, что сдержаться бы не мешало, а удержу нету. Через это неприятностей сколько было. Теперь Валька с геологами по тайге лазит.

...Интересно, будут спрашивать про родителей, как воспитывали? Могут спросить. Всякие вопросы могут быть. «Гражданин Тримасов, расскажите свою биографию...» Гм... Если коротко, биография самая простая. Родился в сорок втором, в семье рабочих. Хотя нет, отец — служащий. Директор механического завода. Мать простая. Отец умер, когда Пашке было три года,

мать — когда десять исполнилось. Отец от чахотки умер. Коммунист был, настоящий. Болел, чуть живой ходил, а работу не бросал. Посылали лечиться — не ехал. Война, мол. Все для фронта. А у матери с горлом что-то приключилось. Враз задавило. Зинка замуж вышла, еще мать живая была. Из последнего приданое справили, свадьбу, как в довоенное время, сыграли. До сих пор даже обидно. Все для Зинки, а сами... Теперь Зинка еще и свысока посматривает. Порядочная... Витька тоже женился и врозь жить стал. Ну, а потом у бабки жили. Избу, корову продали, вдвоем с Валькой кормились. Потом Пашка переехал к Зинке, в областной город. Худо ли бедно, семь классов за плечами было. А Вальке не удалось. Пять одолел — и работать пошел. Из-за Пашки же. Ну, а дальше все известно, гражданин прокурор.

Вот и вся биография, если без лирики. А если подробно — ого! Целая книга получилась бы...

Он опять поворочался, приподнялся на локте, заглянул в окно. Начинало светать. В августе рассвет не такой, как в июне, — туманнее, задумчивее. С полей запахи наплывают. Неделя, как свежие овощи пошли.

Хорошо бы заснуть, чтоб к прокурору с ясной головой явиться. Закрыв глаза, Пашка про себя начинает считать: «Раз, два, три...» Считает медленно, монотонно, долго...

Нет, не уснуть. Вспомнилось, как с Валькой беду мыкали. Мать, когда без отца остались, целыми днями на работе, а Валька с Пашкой — все на улице. Одно время коров за городом пасли, картошку пекли на костре. После половодья в бочажке сазанов руками ловили.

Мать приучила не жаловаться. Всякие споры и драки сами улаживали. Если б не Валька, Пашке попадало бы от уличной братвы. А за Валькой, как за стеной. Хотя, конечно, и от Вальки попадало. И не зря, если подумать. Бывало, вредничал Пашка и ленился. Самое трудное дело зимой. Корову кормить нечем. С санками за город ходили, с дороги сенные клочки подбирали, барду с пивзавода возили в бочке, а там очереди страшная. И по-другому, по-всякому корм добывали. Бывало, среди ночи Валька сбрасывает одеяло и приказывает собираться.

— Куда? Зачем!? — спрашивает Пашка, хоть и знает, что надо идти ночью по морозу на край города.

— Кому говорят!

Пашка начинает орать, чтоб соседи услышали, чтоб сорвать Валькины планы. Тогда Валька вышвыривает Пашку в сени на мороз, а вслед летят валенки и шубенка.

— Одевайся, и чтоб ни звуку!

— Гад! Вор! — кричит Пашка и валится от затрешины.

Валька сразу же поднимает его и тычками выпроваживает за ворота. И за воротами, на улице, Пашка ревет и сопротивляется, чтобы кто-нибудь услышал, помешал Вальке. Но тот неумолим. Мороз обжигает лицо, легкие, руки. Темень, тишина, скрипит снег под ногами. Где-то простуженно воет собака. Страшно, холодно, одиноко. До полдороги Пашка ловчит и вредничает, чтоб домой вернуться. Потом согревается, успокаивается и уже соглашается с Валькой.

— Ты что думаешь, — говорит Валька, — с голоду сдохнем, если у Зорьки молока не будет. И никто нас кормить не будет.

Да, если уж правду говорить, благодаря Вальке и закончил Пашка семь классов. Потому и хотелось перед судом Вальку увидеть.

А бабка про все узнала только в тот день, когда судили Пашку. Пришла в суд и, потаясь, бумажку сунула: «Молитва против суда. Захожу в кабинет. В кабинете стол. За столом сидит судья. Под столом — гробница, а в гробнице той девица. Кто девицу разбудит, тот и судить меня будет. Судите, окна и двери, а судьи все онемели. Аминь!..»

Эх, бабка, бабка! Да разве же молитвой дело поправишь...

И судили-то не больше часа. «Ударил?» Ударил, конечно, не лезь под руку. «В общественном месте?» В общественном. Люди всегда конфликтуют больше в общественных местах. «Признать виновным...» Полгода в тюрьме сидел Пашка, потом в колонию перевели. В тюрьме одиноко, зато спокойнее. И времени для книжек много. А в колонии страшно показалось. Публика непривычная — блатовщина, уголовщина. Злые, жестокие, тупые, слова не скажут по-хорошему. Так вначале ка-

залось. Потом привык. Кое-кто даже нравиться начал. Например, Мишка-Галилей. Острый, умный парень, но злой. Не как другие дерганые, а вежливо, тонко злой. Так, что не всякий и поймет, когда Мишка издевается. «Оно же, парнокопытное, как рассуждает», — скажет Мишка про кого-нибудь. Сильно скучал Пашка в первые дни в колонии. И неизвестно, чем бы кончилось, не будь библиотеки, а в ней старика Абрамыча.

Как-то в выходной пришел Пашка в библиотеку. За стойкой — чуть голова видна — старичок в очках. Толстовка на нем парусиновая. Разрешили, наверно, одежду свою носить — как старичку и интеллигентному человеку.

— Прошу, прошу, молодой человек. Чем увлекаетесь? Присаживайтесь.

Пашка еще не успел рта раскрыть, а старичок вопросов кучу наговорил. И все уважительно, вежливо так.

Пашка посмотрел в очки ему. За стеклами щурились и мягко светились голубые глаза. «Таких-то зачем сажают? — подумал Пашка. — Иисус Христос какой-то...»

Слово за слово. Старичок-библиотекарь говорливым оказался. Профессиональная, говорит, слабость. Двадцать лет преподавал литературу и лекции читал.

А у Пашки привычка была: если человек с ним откровенен, то и он с ним всякие суждения высказывать не стесняется.

— Значит, что же, Павел Федорович, — приключения интересуют, фантастика, современность?..

Чудак! Никто не называл Пашку по отчеству.

— И много вы начитали уже? — спрашивает Абрамыч.

— А почти все, что выходит сейчас, — похвастался Пашка.

Отчасти это была правда. Своих, советских современников Пашка читал регулярно.

— Ну, а как насчет классики?

— Какой?

— Вот этой, например. — Абрамыч провел рукой по корешкам толстых книжек.

— А-а, Достоевщина. Он же, говорят, был ненормальный. Псих?

— Ай-я-яй! Как вам не стыдно, Павел Федорович! Достоевщина... Есенинщина...

Еще что-то хотел сказать Абрамыч, да Пашка перебил:

— Э, нет. Вы Есенина не равняйте. Это во какой поэт!

Абрамыч засмеялся.

— А вы все-таки прочтите. Времени у нас достаточно. Прочтите. Запишу-ка я на вас «Братьев Карамазовых»...

Вот с этих братьев и пошли потом беседы и дружеские споры. Правда, с Абрамычем спорить — все равно что с паровозом тягаться. Все знает. Зато уж если верно про что-нибудь скажешь, радуется, как маленький. Опять же профессиональная слабость — все хочется учить и спрашивать, как понял, как думает его ученик.

Год до пенсии оставался Абрамычу, когда с ним беда стряслась. Семьи у него не было, так он в институте допоздна работал. Зимой в кабинете было холодно, он электрической плиткой обогревался. Предупреждали — смотрите, Илья Абрамович, как бы беды не вышло. Так и получилось. Забыл как-то выключить плитку, когда домой уходил. Ну, и пожар вышел. Большой пожар. Чуть не весь институт сгорел. И дали Абрамычу два года — за халатность...

Подружились. Абрамыч литературные способности в Пашке обнаружил. И пошел хлопотать, чтобы Пашку в КВЧ использовали — в культурно-воспитательной части. Начальник КВЧ, лейтенант Чалый, тоже оценил Пашку: тот хорошо наглядную агитацию оформлял, рисовал карикатуры, сочинял к ним подписи, даже в стихах. Больше в КВЧ бывал Пашка, чем с бригадой работал на глиняном карьере, у кирпичного завода. А в КВЧ всегда времени много. И книжки читал, и письма писал.

Занятная штука — письма. Их ведь тоже по-разному писать можно. А началось с чего? Пришли свежие газеты. В одной — очерк и к нему фотография. Не красавица, но есть что-то. И, вроде бы, человек интересный, если газете верить. Дояркой в совхозе. Валя. Валя Бойченко.

Бывало, и в училище ребята писали газетным де-

вушкам. И Пашка взял да и написал ей. А что плохого? Сначала вообразил, какая это красавица — Валя Бойченко. Широко вообразил. Даже походку придумал, и голос, и смех, и как рукой она гладит по его светлым волосам. Деревеньку Валину, стежки-дорожки, сады черемуховые представил. Это нужно было, чтоб писать необыкновенно. И правда, письма получались занятные. Писал он их по неделе каждое — будто произведение. И приключения всякие сочинял. Вроде бы они, эти приключения, случались по роду особой Пашкиной работы. У него и адрес такой — из одних букв да цифр. И фото свое Вале послал — в халате и бритоголовый: в госпитале как раз лежал, с желудком. А подписал: «Простудился в ледяной воде, спасая товарищей...» Пижон, конечно.

Письма и самому Пашке нравились, и Валя писала, что читает их с большим интересом, прямо как литературу. Дала почитать кой-кому, так теперь отбою нет. Спрашивают, нет ли новых писем от друга. А Пашка всегда что-нибудь придумает для затравки. «...Вышли, мы, как обычно, спозаранку. У нас было два автомата и один карабин. Диверсантов было вдвое больше, и каждый вооружен был до зубов — до зубьев, как сказал дедок, который уследил их. Скрылись они в глубоком распадке и пошли по речке, по воде, чтоб собака след не взяла...»

Но вообще-то он меру знал. Врал, да не завирался. Больше писал о чувствах и размышлял на всякие темы. Валя писала часто и все извинялась, что, мол, жизнь ее очень обыкновенная, нет ничего интересного и писать, как Пашка, не умеет. Письма ее и в самом деле были простенькие, как оладушки.

Однажды Валя прислала газетку — опять со статьей, где упоминалось, что парень, с которым она дружит и переписывается, служит на границе и шлет ей письма о своей трудной, романтической службе. Это место было подчеркнуто красным карандашом. Пашке стало стыдно. Он перестал писать. А Валя прислала посылку. Свитер, носки, перчатки и кусок свежего сала.

Что же было делать? Долго сочинял Пашка очередное письмо. Писал и переписывал. Наконец, вроде, ловко объяснил, почему писал такие письма, за что сидел в заключении. Просил прощения за обман и прощался

навсегда. Но Валя, похоже, не очень и расстроилась. И писанина Пашкина опять ей понравилась. Мол, только интересный человек так писать мог. Даже обещала приехать повидаться — не так далеко, уже узнала, как это сделать. Вспомнил Пашка свои письма с диверсантами и таежными дебрями. А была вокруг ровная степь с сухими релками, где куртинами рос шиповник. Написал в ответ, что переводят его в другое место и адрес пока неизвестен.

А тем временем письма его переписывала почти вся колония. Кто-то снял копию с наилучшего письма и пошла писать губерния! И запретить Пашка не мог — никаких законов на этот счет не было. Обиднее всего, что дурак какой-нибудь изливался Пашкиной душой и морочил кому-то голову. Даже Лешка Хряпов. Одна извилина в башке, а туда же. Кое-кому даже посылки пошли. И тот же Лешка давай их к рукам прибирать. Мордovorот Лешка. Нет ему равных по силе и наглости.

А Пашка уже привык писать. И стал он придумывать да записывать всякие истории в общую тетрадь. Абрамыч читал, хвалил, советовал поступать на литфак. Но, по мнению Абрамыча, Пашка был слишком категоричен. И еще он сказал:

— Пиши. Полезно во всяком случае. Ибо праздный мозг — мастерская дьявола.

Как-то вечером пришел Пашка к Абрамычу в библиотеку. Было холодно. Абрамыч горячий чай попивал. Погрелись, побеседовали. Пашка прочитал ему очередное свое творение — эпитафию на доносчика:

Всю жизнь писал с утра до ночи.  
Огромный труд, отнюдь с писательским не схожий.  
Остановись и плюнь, прохожий,  
В могиле сей лежит доносчик.

Уж как смеялся Абрамыч! Вы, говорит, юноша, переплюнули меня. Я, говорит, начинал писать с эпиграмм, а вы — с эпитафий. Ну, знаете ли!..

А потом все за сердце хватался, пакетики с лекарствами разложил.

— Это у вас от крепкого чая! — укорял Пашка. — Надо же! Серьезный человек, а заварили почти как чифир! И не вздумайте больше так заваривать! Ну прямо, как ребенок, ей-богу!



Схватило Абрамыча, посинел весь. Пашка на руках бегом отнес его в медпункт. Легонький, сухонький. Такая жалость взяла...

Умер Абрамыч... Похоронили его за зоной, на самой высокой релке. Пашка посадил на могилке шиповник. В то же лето высоко, буйно разросся куст. И в зоне Пашка развел шиповник. Как с работы идти, так выкопает кустик, а потом возле КВЧ посадит. И тут шиповник прижился, розовым огнем цвел, а теперь уж ягоды были. И утвердились за Пашкой две клички: Пашка-Садовник и Шиповник. А кто просто Шипом называл. Это после драки с Лешкой.

Да еще весной разрешили ему грядку вскопать, чтоб посадить огурцы. После работы к этой грядке всех, как магнитом, тянуло. Кое-кто вообще не знал, как огурцы растут. Все любоваться приходили, никто не трогал. Даже Лешка Хряпов.

...За окнами совсем рассвело. Но в колонии было еще тихо. Скоро подъем. Скорей бы уж...

Зевнув по-львиному, поднялся Лешка. Посопел, почесался и затопал в своих кованых ботинках к выходу. Потом раздался истеричный и матерный вой Витьки. Это Лешка по пути ему салазки загнул. В бараке зашевелились. Охали, вздыхали, хрустели суставами, скрипели досками. Кто-то еще бормотал во сне. А как ударили подъем, так все и затихли — вставать неохота.

Лешка теперь обратно топал, орал «Подъем!» и одеяла стягивал.

— Не видать тебе, Шип, воли. Падла буду! — скажон, проходя мимо.

— Почему не видать? — спокойно спросил Пашка.

— Ха! Карцером замаран. Таких не освобождают досрочно.

Правда... В карцере бывал Пашка. Из-за Лешки же. Тот над всеми издевается. По сну, аппетиту и наглости Лешка рекорды ставит. Товарищей у него нет, зато «шестерки» имеются. От страха. Отберет и сожрет последнее. А драться с Лешкой все равно, что с трактором. Саданет — и пойдешь на полусогнутых. Лыбится, а сам истязает. Удовольствие ему доставляет, когда человек в жалком состоянии.

Пашка однажды работал в карьере, а Лешка торф снимал. Попался ему камень — он и пнул его на голову

Пашке. Как не убил еще. Пашку будто ветром сдуло. А в руках кайло. Спасибо, ребята за ноги ухватились, удержали.

В другой раз нес Пашка миску с баландой. Лешка отнял баланду, выпил, а миску с размаху на голову Пашке насадил. Все ключом закипело в Пашке, и не успел Лешка облизаться, как Пашка врезал ему в переносицу. И вот что удивительно — брякнулся, как мешок с картошкой. Никому даже не поверилось, что это Лешка брякнулся. Да и сам он не поверил. Вскочил, лыбится, предвкушает, как сейчас котлету из Пашки сделает. А тот еще врезал ему, и опять Лешка растянулся. Раз пять так вскакивал и на пол валился, пока не догадался лежать. Лежачих не бьют.

Лешка так и не поверил, что отдубасили его простым интеллигентским кулаком. Но тиранить Пашку перестал. Правда, иной раз уставится и давит взглядом, рассматривает, как букашку.

А Пашкин авторитет повысился. Абрамыч — жив был еще — потревожился, как бы Пашкин успех боком ему не вышел.

...Встал и оделся Пашка вместе со всеми. В столовку ходил. А на выходе встретил рассыльного.

— Беги в спецчасть!

Колотилось и замирало сердце, ноги плохо слушались, когда переступал порог спецчасти.

— В клуб, в клуб! — сказал начальник, отмечая что-то в бумагах.

Пашка поспешил в клуб. Он думал, там полно народу. А народу было совсем немного. На сцене за столом сидели прокурор, начальник отряда, начальник охраны, начальник КВЧ.

Дела разбирали быстро. Начальник отряда вставал и зачитывал характеристику. Как работал человек, какой процент давал, как дисциплину соблюдал. Прокурор задавал два-три вопроса начальнику, тот отвечал и дело решалось.

Сначала разбирали двух плотников, оба пожилые уже. Слушал Пашка, как начальник отряда хвалил их, и сердце сжималось в тревожной тоске. У него-то не было никаких заслуг. Процентовка была, правда, неплохая. А еще что? Ничего. Прокурор, как пить дать, задробит....

Плотников освободили, и они, не мешкая, ушли. Вот уже выкликнули Пашку, он уже стоял впереди стульев, начальник отряда уже зачитывал характеристику, а он все еще не мог прийти в себя. Когда услышал, что начальник назвал его дисциплинированным, кровь ударила в лицо и загорелись уши. Начальник докладывал, что в карцере Пашка не бывал. Как не бывал? Да как же так?! Тот же начальник сажал его в карцер...

Прокурор тем временем листал бумаги.

— ...Считаю достойным досрочного освобождения, — услышал Пашка.

Он поднял глаза на начальника, и то ли у того глаз дернулся, то ли он и вправду подмигнул. Этот мешковатый пожилой майор в прошлом был учителем. Неужто и впрямь разгадал он, какой есть Пашка Тримасов? А если разгадал, то понял — никакой он не уголовник, а просто, как сказал Мишка-Галилей, человек с живыми нервами. Проще говоря, характер виноват. А человек Пашка не пропащий, общественно не вредный, нет...

Пашка уже поверил, что освободят. А прокурор вдруг вопрос ребром поставил: почему Пашка не был членом СВП — то есть секции внутреннего порядка. «Все! Пиши пропало!..» — промелькнуло в голове.

— У него здоровье неважное, — вместо него ответил майор.

— Вы свободны, — объявил прокурор и размашисто подписался на бумаге.

Пашка не сразу понял — в каком смысле он свободен.

— Всего хорошего, Павел! — сказал начальник отряда. — Давай шпарь в спецчасть. Паспорт получай, документы...

Боже! Как посветлело! Пашка ног под собой не чувствовал, пока бегал в спецчасть и улаживал всякие дела.

— Ребята! Не ждите меня! — звонил он на карьер с вахты, когда из зоны выходил.

Разрешили позвонить. И там, на другом конце, разрешили. Ребята подходили и по очереди поздравляли. Такое дело — год скинули!

И с охранниками на вахте, которых, по правде говоря, недолюбливал Пашка, за руку попрощался, по-

желали они ему счастливой жизни, и чтоб никогда им больше тут не встретиться.

А когда Пашка вышел с фанерным чемоданчиком по аллежке на шоссе и оглянулся — ему, вроде бы, даже чего-то жаль стало, вроде тут что-то неисполненное оставалось.

По шоссе было идти километра полтора. А там и станция. Как, бывало, тревожили паровозные гудки! Позовут, позовут вдаль, а ты сиди и не рыпайся... Сейчас хотелось побежать, да чемодан мешал. У станции шоссе делало поворот, чтоб пересечь линию, а у самой линии — шлагбаум. Там дежурный мужичок косил в кювете сено.

— Бог в помочь! — крикнул Пашка.

— Спасибо, сынок, спасибо! — ответил мужичок. — Нырять под шлагаум-то. Ты же не машина, проходи.

Такой хороший дядька! Так все хорошо! Эх...

Вот и станция. Знакомые запахи угольного дыма, мазута, краски. Паровоз под парами, а возле него два чумазика копошатся — ученики, наверно, помощники.

— Привет, ребята!

Но ребята не услышали. Паровоз гулко шипел паром.

На вокзальчике Пашка навел справки насчет поездов. В его сторону поезд шел не скоро. Сначала Пашка, вроде, успокоился: ждать — так ждать. Два года ждал, а тут часы какие-то.

На перроне киоски стояли — книжный и продуктовый. Пашка сначала пошел в продуктовый, купил чаю, сахару и пачку печенья. Потом газеты купил. Стал искать кипяток, но водогрейки нигде не было. Решил сдать чемодан на хранение, выйти за линию и вскипятить чай в кружке на костре.

А тут как раз товарняк подкатил. Попутный. Защемило сердце. В детстве он часто на товарняках ездил, и потом ездил, когда в училище был. И нестерпимо захотелось ехать сейчас же. Вот уже семафор поднялся, машинист дал гудок — длинный, призывный, мелодичный. Кинулся Машка к самому поезду, выждал подходящий вагон и вспрыгнул на переднюю площадку. Никто не заметил. Паровоз еще дал гудок, вагон качнулся на стрелке и покатился. Поехали...

Вагон был новенький, пахнул краской. Замелькали столбы, встречные машины, потом мосток прогрохотал

под колесами, началась степь. Хлеба золотятся, комбайны идут. Меж полей тянутся лужки, на них стога и копны, отава изумрудно зеленеет. А сверху шпарит солнышко. Красота! Товарняк покрикивает, посвистывает, и все набирает скорость. Лихо, весело! И может, от радости, может, от свежего воздуха наконец хорошо и свободно вздохнулось, и все внутри расслабилось. Вскоре стало ко сну клонить. Привалил Пашка чемодан в уголок, подстелил газету, лег и уснул под стук колес.

Ехать было неблизко, часов десять. Сойти он решил в городке, где бабка жила. Сон какой-то хороший привиделся. И вдруг свист и рев ужасный: «Руки вверх!» Вроде, немцы с облавой нагрянули (в кино их насмотрелся). Проснулся Пашка, видит — стоит дядька свирепого вида, тычет дулом в глаза и что есть мочи дует в свисток, глаза пучит.

— Вста-ать! Руки вверх! — А сам свисток не выпускает, сквозь зубы орет, и оттого голос совсем нечеловеческий. И все ствол в глаз сует. — Попалси, бандит-ит! Отвернись к стенке! Кому говоря-ять!?

«Господи! — подумал Пашка, — да что же это такое? За что?»

— Послушайте! — приподнимаясь, сказал он. — Да я же просто домой еду. Ну, понимаете, пассажирского долго ждать было...

— Поговори, поговори у меня! Фю-рь-рь-рь!.. Фю-рь-рь-рь!

— Да брось дурака валять! — рассердился Пашка. Оттолкнул дядьку, спрыгнул на землю. Поезд стоял на какой-то станции. Наверно, долго стоял, уже вечерело.

— Стой, бандит! Стрелять буду! — Охранник тоже спрыгнул и бешено свиристел над самым ухом. А Пашка махнул рукой, да послал его подальше. И сразу же два выстрела грохнуло.

Оглох Пашка и оробел. А потом такая злость взяла, аж земля под ногами качнулась.

— Да ведь ты, гад, и убить мог! Ах ты тварюга безмозглая!

Пашка выхватил у него карабин и швырнул в сторону. Карабин застрял на крыше вагона, возле трубы. Охранник отбежал и пуще прежнего орал, свистел. Еще двое прибежали с карабинами.

Все, влип... А за что? Господи!

— Где у тебя карабин!? — заорал один из прибежавших уже на охранника.

— Евонная работа! Вон на крыше лежит! Забросил, гад!

— Марш на крышу! — затопал на него прибежавший. — А ты открой чемодан! Ну!

— Да-да-да. Тут у меня бомбы атомные, снаряды, ракеты... Ха-ха-ха!

— После смеяться будешь.

Пашка открыл чемодан. Кружка, ложка, пара белья, томик стихов Саши Черного и два тома Достоевского — вот и все.

— Закрой, и — шагом марш!

Привели в комендатуру. И начался допрос — кто, что, куда ехал. Пышноволосый румяный комендант, кажется, был неглупый парень. Держался официально, а глаза посмеивались. Наверно, вник в Пашкино положение.

— Ну даешь ты, парень! Ну даешь!

Поспрашивает, спрашивает и опять:

— Ну даешь! Ну даешь! А если опять, а?

— Да за что?

— А вот за это самое... — Комендант покрутил рукой. — За карабин, и вообще за нарушения.

— Да гражданин... товарищ комендант! Я же...

— Ладно, ладно. Выясним...

Больше суток выясняли. И может, худо обернулось бы, да характеристику на Пашку хорошую получили. Отпустили, слава богу. А когда комендант отпускал, опять свое:

— Ну даешь!.. Подумал хоть?

— Ох, еще спрашиваете!

— Штрафануть бы тебя, понимаешь. Да ладно уж. Иди. Иди пока...

Отдал Пашкины документы и — чудак! — опять же с товарняком до места назначения отправил. А тот, первый товарняк, наверно, и правда секретный был, особый...

Теперь ехать было недалеко. Ехал так же на площадке, такая же степь кругом. Но самочувствие было уже другое. И комендантские слова, это его: «Иди пока» все время на ум приходили. Застряли в голове.

С этого случая поселилось в Пашкиной душе смут-

ное беспокойство. И в родной городок заявился он не с тем настроением, с каким выехал.

Городок изменился, хоть и не так много времени прошло. Новый вокзал — и не деревянный, а кирпичный, двухэтажный. Новая водокачка, а рядом заведение: «Кипяток» и «Газированная вода». Это неплохо придумали. С мороза кипяток пей, с жары — газировку. Сейчас и мы выпьем.

Пашка подошел к окошечку и спросил у дежурившей тетки, почем она, эта самая газировка.

— Стакан — копейка, — досадливо ответила та и снова повернулась к товарке, вязавшей что-то на спицах.

— Два стаканчика, будьте добры.

— Нету. Давно уж нету, — не оборачиваясь, сказала тетка.

— Так зачем же вывеска?

— Тебя не спросили!

— Ух стервы! Где только такие плодятся!? — выругался он. — Испортить настроение человеку — раз плюнуть!

Но скоро Пашка опять успокоился. Пошел искать гостиницу. Шел знакомым переулком и новые дома рассматривал, этажи считал. С детства привычка была — этажи считать. Центральная улица была теперь заасфальтирована, по ней сновало множество машин. Значит, шла жизнь, не останавливалась и без Пашки Тримасова...

В гостинице места были. Пашка получил койку. К бабке решил пока не ходить. Вот переночует, походит по городку, осмотрится. Деньги у него были, на личном счету копились, пока сидел. Купит что-нибудь, приоденется — и к бабке как порядочный заявится.

Был конец августа, как раз все вызрело. На окраине, куда отправился он побродить, как и прежде, зеленели огороды. Изгороди хмель обвивал, тыквенные плети вылазили на улицу и даже на столбы карабкались, а веранды у изб и навесики у летних кухонь опутывал вьюнок.

Он зашел на базар. Пахнуло родным, из детства. Какой-то колхозник с машины торговал помидорами. А вдоль забора у коновязей, как и прежде, стояли лошади, помахивали хвостами. В клетках и мешках визжали

поросята, распевали ранние петушки. Пахло анисом, укропом, арбузами, дынями, огурцами, хлебом, навозом, смолой, краской...

Недалеко возвышалась железнодорожная насыпь, а за насыпью — луга, на которых Пашка когда-то корову пас. Со всего городка коров сюда сгоняли, и пастухов набиралось до десятка. Своя «республика» была, свои законы. Пашка вышел на насыпь. Что такое? Лугов — как не бывало. Распахали. Жаль...

Потом Пашка по магазинам пошел. Купил костюм, вполне приличный, чехословацкие «корочки» на микропорке, шелковую рубашку. Галстук хотел купить, да раздумал — и раньше ни при какой погоде не носил галстуков. Сходил в парикмахерскую, в баню.

А когда остался в гостинице один и разглядел себя в зеркале, сам себе понравился. Ничего парень. Даже интеллигентный. Пожалуй, зря галстук не купил. Иного человека по галстуку и за важного принимают. А если ворот расстегнуть, тебе с ходу нахамить могут, как та тетка на газированной воде. Вот глаза только да руки выпирают из общей картины. Руки широкие, красноватые, костистые. А глаза... С надломом, вроде бы, с недоверием, жестковатые. Ну, не беда. Оттают глаза, лишь бы все хорошо было. Главное, в целом ничего. Ростом не обижен, плечи широкие. Суховат малость, так это даже лучше. В мать уродился. Белокурая, статная была. Сколько потом о ней жалели! Такая молодая, красивая умерла. Еще замуж могла выйти...

В новой одежке Пашка почувствовал себя увереннее, будто и сам обновился. Долго шевелюру уламывал — непослушная.

За этим занятием и застал его милиционер.

— Как твоя фамилия? Тримасов?

— Тримасов. А что? В чем дело? — встревожился Пашка.

Оказалось, милиционер паспорта проверял у дежурной гостиницы, обратил внимание на Пашкину пометку.

— Долго думаете здесь проживать?

— Нет, — сказал Пашка. — Мне учиться надо. А тут родные живут. Погощу — и уеду.

— Я про гостиницу говорю.

— А-а... Нет. Завтра уйду.

— А потом?



— Ну я же сказал. В училище поеду. У сестры жить буду.

— Так, так... Ну ладно. А вообще в нашем городе с квартирами туговато.

Еще постоял зачем-то милиционер, окна осмотрел, шкаф. И ушел, ничего не сказал. А настроение испортил.

Опять вышел Пашка на улицу, походить. Видел кое-каких знакомых, но они его не узнали. Немудрено — из городка Пашка пацаном уехал, теперь мужчина. А на душе муть копится.

Не верилось, когда Мишка-Галилей — уж на что остроумный парень — два дня рыдал и ходил, как чокнутый, когда помилование вышло. Мишка непрерывно писал в Верховный Суд, требуя пересмотреть дело. Все статьи изучил, и все оправдывали Мишку. Три года прошло. Мишка всякую надежду потерял. И вдруг — трахбах! Мишка оправдан, да еще компенсация будет. Не вынес парень радости — слезы в три ручья. А сам ничего не видит и не знает, что делать. Бегает по зоне (бес-толку, тычется, — а Мишка и без того двойные очки носил.

Теперь Пашка лучше понимал его. Вроде радоваться надо, а не получается. Усталость, обида, тоска, сожаление, незащитность... Этаким малостью чувствуешь себя, этаким щепкой в большом половодье. Может, иначе было бы на душе, если бы не случай с товарняком да не милиционер этот...

С таким странным чувством и ходил Пашка весь вечер. В гостиницу вернулся поздно, а к бабке так и не зашел. Уже спать собирался, когда в комнату с шумом, скрипя сапогами, ввалился тяжелый какой-то дядька. Пока ему меняли белье, он сходил в буфет, а когда вернулся, — давай реветь на кастеляншу: ему дали неглаженные простыни. Орет, ряха такая, а кастелянша — старая, слабая женщина. Так бы и дал этому дядьке... Но это, конечно, было бы глупо. А заступиться надо. Пашка хотел сначала тоже на глотку приналечь, да вспомнил манеру Мишки-Галилея. Мишка, когда брал кого-нибудь на оттяжку, говорил ласково, а прислушаешься — издевается.

— Вы, гражданин, не утомляйте мамашу, не кричите на нее так громко, — сказал Пашка. — На нее и так

всю жизнь кричали. К тому же ни при чем она. Есть администрация.

— Как это ни при чем?! Все должны отвечать! И не суйтесь не в свое дело!

— Логика нет, гражданин. Все должны отвечать — и вдруг «Не суйтесь». Это что же получается? Вы, вроде бы, все права себе присвоили? — Все это говорил Пашка, нисколько не повышая голоса, даже дружелюбно. Это было самое трудное для него — возмущаться, а говорить, как Мишка-Галилей.

Гражданин не то хмыкнул, не то фыркнул и пошел к администратору.

А Пашка отметил, что хорошо поступил. Мишка выручил. Тот, бывало, говорил про таких: «Оно же, парнокопытное, воображает, будто все государство на нем держится...» У Пашки даже настроение улучшилось. Конечно, в общем-то поступил обыкновенно. Старая, слабая женщина — и он защитил ее. Конечно, мог бы защитить и кулаком. Но теперь Пашке Тримасову и руки поднять нельзя — могут дать статью за повторность. Пять лет отвалят...

Было у него время подумать о жизни, было. Книжки тоже кое-чему научили. Но так-то оно так, критерии у него, вроде бы, праведные, человеческие. Да многие и на свободе этих критериев не придерживаются. А может, Пашка чудак-рыбак, навывдумывал? Да нет, не может быть. Одно дело — знать всякие истины, другое — на деле применять их, на себе самом. Абрамыч говорил: «Нельзя весь мир не любить только за то, что он еще плохо устроен. Нельзя ждать, что кто-то устроит все и подаст вам ключи, будто от новой квартиры. Сие — тунеядство и мещанство высшей степени...» Положим, так. Но если, скажем, наводить порядок, то можно ли без кулака обойтись? Вот тут и подумаешь. Эх, всякую науку про человека и человечество изучить бы, и, может, ясно было бы, когда можно бить в морду, когда нет...

Утром Пашка встал не рано. Умылся, новый костюм надел, расплатился за гостиницу, перекусил в буфете и отправился к бабке. Жива ли бабка-то? Узнает ли?

Утро было с туманом, августовское. На окраине, где жила бабка, хорошо было слышно, как в ближнем селе трактора и комбайны пробуют моторы. Вот затрещал еще один — высоко и часто. Это пускач у дизеля, вере-

щит, как новорожденный. А вслед за ним густой басовитый кашель слышится. Это главный мотор голос подает. Вот и он реванул! И загудело, загудело в селе все шире и шире. У Пашки даже холодок под лопатками пробежал от волнения. Где-то, кому-то предстояла большая, веселая работа.

Знакомая изба пряталась меж огородами. Крыша из старого рифленого цинка, и стены тоже. Таких изб и домов много еще сохранилось в городке. К избе, меж огородов же, вел узенький тупиковый переулочек, похожий на зеленый туннель: с обеих сторон нависали подсолнухи, кукуруза, тыквенные плети. У самой избы были воротца, а за ними заросшая муравкой опрада и огород. Вот чудачка — раз кур нет и другой живности, зачем же двор огораживать?

Тут, во дворе, и встретил Пашка бабушку. От колодца шла. В одной руке батожок, в другой ведерко с водой. Неполное, но все-таки с водой. Значит, все-таки будет у Пашки счастье.

— Ну слава тебе господи. Вернулся, — спокойно сказала бабушка, узнав Пашку. — Давай бери ведерко-то. А то у меня ноги болят.

И вообще бабушка не удивилась, будто ничего такого с Пашкой и не было. «От сумы да от тюрьмы не зарекайся. Все под законом ходим», — вот и все бабушкино удивление. Правда, сказала еще, что молитва божья помогла: цельный год скостили. Да еще утешила тем, что сильно Пашка на мать похож. А кто на мать похож, тот счастливый. И выправился Пашка хорошо, будто в армии служил. Бог заступился. Бог-то бог, сказал Пашка, да сам не будь плох. Если бы чифирил, как другие, так не очень бы выправился. Да и возраст такой, когда самый рост.

— Ну как живешь-то, бабушка? — спрашивал он за столом.

— А так и живу. Пензию получаю. Скопленные деньги держатся ишшо. Так и до смерти доживу. Может, сама и в гроб лягу.

Грób бабушка давно уже заказала, по своему вкусу, стоит в кладовке, ждет своей поры. Ни к кому бабушка ехать не хочет.

— Если долго поживешь у меня, огород убрать сможешь.

— Посмотрим, бабка, посмотрим...

За день Пашка несколько раз в огороде был и все удивлялся: куда бабка насажала столько! Помидоры, огурцы, тыква, редька, морковь, картошка, капуста, укроп, анис, петрушка!.. И зачем? А затем, сказала бабка, что не ей, так людям достанется. Может, в смертный час добром помянут. Ну и бабка!

Что ж, может, и правда счастливый Пашка. Не дурак ведь? Не дурак. С собой ничего парень? Ничего. Силенка есть? Есть. А жизнь вся впереди. И свобода. Теперь бы устроить все как следует, чтоб душа отмякла, чтоб глаза оттаяли да накипь лагерная сошла...

День ему показался длинным, даже утомительным от безделья. И читать что-то не хотелось. Работы в бабкином дворе нашлось немного. Чурки на дрова расколол, подпорку под плетень поставил. Бабка хотела было послать его на базар с помидорами, но тут Пашка сразу отказался.

Вечером, после ужина, он попросил фотографии родственников и стал их рассматривать. Все тут были. И себя он увидел у отца на руках. Этаким человечек! Лобик широкий, пушистый, а личико клинышком. Глаза совсем круглые и восторженные, как у щенка. Вот когда он был счастливый! А материной фотографии не нашел. Бабка сказала, что была одна да пропала, сама диву дается, куда девалась. А больше нет.

На другой день отправился Пашка на кладбище, искал материну могилку, не нашел. Вернулся, стал спрашивать у бабки. Бабка вспомнила, что садили черемуху на могилке, теперь должна быть большая. Хорошо невестка про черемуху пела, так пусть и лежит под черемухой. А черемухи на кладбище были сплошь. Да еще яблони с грушами и сосняк. И сторож не знал, где лежит Евдокия Тримасова. Хорошо, что другой, сменный, вспомнил и сразу место указал. И недалеко от ворот. Это потому, что ворота теперь были в другом месте. И лозунг на воротах: «Превратим кладбище в цветущий сад!» На могилке и правда выросла настоящая черемуха. А давно ли посадили?..

Дедок-сторож Пашке понравился тем, что необычное свое дело справлял серьезно и старательно. Жизнь и биографии многих покойников знал.

— А в основном тут неплохо, дед, — сказал Пашка

тоном Мишки-Галилея. — Вот только наглядная агитация бледновата. Всего один лозунг, да и тот не полностью идею выражает. Добавить надо лозунгов-то.

— Дак сам-то я не могу, — серьезно сказал дед. — А надо, дак добавят.

Досчатая пирамидка над могилкой матери сильно подгнила, покосилась. Оградка исчезла, одни столбики остались. Да и зачем покойникам оградки? При жизни не все меж собой ладили, да еще тут отгораживаться. Вроде бы, тут у каждого частная собственность. И памятники взять... Зачем покойникам украшения? Насмешка какая-то. Лучше о живых больше заботиться. Лучше бы люди уходили из жизни, ничем не напоминая живым, что и их ждет то же. Ушел человек — и все, будто растаял, растворился и невидимо присутствует среди живых. Вот почему Пашка не стал починять оградку и делать новую пирамидку. Черемуха растет — и хорошо. Да еще нашел кустик шиповника на скате овражного бережка и крохотную сосенку, посадил на чуть заметном могильном бугорке. И еще разбил стеклышко на пирамидке, под которым была фотография матери и бережно положил ее в нагрудный карман.

Подошел дед-сторож, посмотрел на посаженные Пашкой кустик и деревце, одобрил:

— Оно и правильно. Пусть растут.

Пашка вытер руки пучком травки, закурил.

— Слушай, дед. А почему бы на большом щите перед воротами не вывесить портреты выдающихся покойников? И еще доску почета сделать из мрамора, навечно имена выбить. А?

Дед, наверно, соображал, в шутку это или всерьез, молчал, поглядывая в сторону. Потом ответил обычным деловито-озабоченным голосом:

— Дак Иван-то Афанасьевич, сказать, до сих пор висит на почете доски. На самой главной улице.

Пашка не стал узнавать, кто это Иван Афанасьевич. Дал деду полтинник, попрощался и пошел через кладбище — в луга, к озеру, где любил когда-то удить карасей. И никто бы, наверно, не понял, почему именно сюда направился он с кладбища. Он, вроде бы, не сам шел, а и мать позвал, уводил ее туда же, в луга, где все дышало светом, солнцем, простором, жизнью. Шел и все прикладывался ладошкой к нагрудному карману.

Под фотографией теплело. И становилось ему все уютнее, светлее. Не хотелось рассматривать фотографию здесь, на кладбище. Потом переснимет в нескольких экземплярах, тогда и у братьев, и Зинки будут такие же фотографии.

На выходе, перед самым оврагом, где висел подмытый забор, Пашку окликнули. Он оглянулся. Неподалеку кружком сидели четверо мужиков. Они разливали водку в пустые консервные банки. На газетке перед ними лежала закуска.

— Иди-ко, выпей с нами, парень! — пригласили они. — Не горюй.

Наверно, они видели, как Пашка ходил по могилкам, сажал сосенку и шиповник.

— Давай потянем да родителей помянем. Хорошая традиция.

— Как раз маму проведал, — со вздохом сказал Пашка.

— Вот мы и говорим. Давай.

Пашка не стал ломаться. Выпил, и опять ему сказали, чтоб не переживал. Один из мужиков чем-то был похож на Мишку-Галилея. «Се ля ви!» — сказал он. — такова жизнь, как говорят французы». У других все присказки были: «Выпьем, поворотим, по донышку поколотим», «Потянем, да родителей помянем», «Пей, да дело разумей». Пока пили, все эти присказки слышались.

Потеплело у Пашки на душе, и не только от водки, а и потому, что мужики компанейские, и воздух свежий, обстановка такая, что никто не мешал, и они никому не мешали. Да еще вроде как с умершими родными людьми выпивали.

— Отсидел, говоришь? Ну и ладно. Видать, честно отсидел. Выглядишь хорошо. А что зря, говоришь, так это бывает. Бывает.... Ничего.

С непривычки Пашка сильно охмелел. Стал рассказывать, как жили, как росли. Мужики, оказывается, и отца и мать его знавали. Как же, на механическом заводе директор был, Тримасов. Хороший человек. От чихотки умер. Это вон на том конце кладбища его похоронили. Там должна быть еще сварная железная тумба с серпом и молотом.

— Я пойду посмотрю. Я должен посмотреть. Как же

это я раньше-то не догадался! — чуть не прослезился Пашка.

Не помнил он отца, потому и не тянуло на его могилу. А сейчас потянуло. Как же! Почему же он раньше не сходил? С матерью однажды были — и все. Это сколько же лет прошло? Больше десяти лет!..

...Очнулся Пашка на могильном холмике, густо заросшем мягкой травой. Была уже ночь, холодило. Где ж мужики-то? Ушли... А может, сам попросил оставить его? Точно вспомнил: сказал, что тут, на отцовской могиле останется, побудет.

Пашка оглянулся и в мертвенном свете луны увидел покосившуюся железную тумбу с серпом и молотом. Он сидел, привалясь к ней головой.

Встал Пашка, выпрямился, хрустнул суставами. Его еще покачивало.

— Ну, до свидания, батя! — Попробовал выпрямить тумбу, но она не поддавалась, видать, была тяжелая и сильно вглубь засосало. — Прощай, батя...

Он шел между могилами и разговаривал:

— Жи-или-то вы зачем, ребята? Милые вы мои! В каждой черепушке мысли гнездились, надежда, вера и любовь. А теперь-то где все это? Ничего!.. Нет, ребята. Не все вы умерли. Умерло тело. А мысль жива-а. Жи-ива, ребята! Она по людям, по детям разошлась. И любовь разошлась. Если бы не любовь, ничего бы на земле не было хорошего. Так ведь? Так. И Абрамыч так говорил. А кто утаил свои мысли, — тот не любил людей, тот пусть на себя пеняет. Тот насовсем умер, навсегда! — Пашка даже пальцем ткнул и будто пригвоздил кого-то. — Но почему кресты? Пять лет пройдет — и все спниет. Камень нужен, гранит! Пирамида! Вот умру я — пусть положат в пирамиду еще один камень. С надписью: «Пашка Тримасов. Шип по прозвищу. Жил честно». И кто жил честно — пусть светлый гранит, а кто подло — пусть будет темный. Как в жизни, чтоб... И была бы пирамида вся в клеточку, наверно.

Ночевал Пашка со сторожем, с тем самым дедом. Утром, когда уж солнце высоко было, вернулся к бабке.

Весь день пролежал на рогожке в черемуховом саду, читал Достоевского. Хорошо тут было. Под черемухой и гнуса всякого меньше, чем под другими кустами. Говорят, она фитонциды выделяет. Даже комар боится.

Дочитав, отложил книгу, заложил руки за голову и долго лежал, глядя в небо, где тихо плыли облака. Тонкие, как дотаивающие льдинки, они говорили об уходящем лете, о том, что скоро полетят гуси и журавли, что недалеко осень.

Про Абрамыча вспомнил. Любил старик в небо смотреть. И петь любил: «Дивлюсь я на небо, та и думку гадаю...» Он, Абрамыч, приучил Пашку к классикам, к Достоевскому в том числе. Вот силен писатель!

Бабка покликкала, чтоб помидоров нарвал да луку для салата. Салат из помидоров Пашка любил без памяти. Сам его и сделал. Нарезал помидоры, луку кружочками, добавил перцу да сметаны.

Тут пришел бабкин сосед Викентий Ипатыч, столяр. Стружками, смолкой пропах. Руки у него с большими кистями, сильные, ловкие. Жена у него продавщица. Приходя с работы, Пашкиной бабке кой-какие покупки делает, помогает старухе. А бабка для них овощей не жалеет.

— Я что пришел-то, — сказал Викентий Ипатыч. — Ленка у меня именинница седни. Так милости прошу к нашему шалашу! Рады будем.

Ленку Пашка знал еще в школе. Деваха ничего стала. В райкоме комсомола работает.

— Все нас, стариков, жить учит, — усмехнулся Викентий Ипатыч. — А послушаешь, без нутра ученье-то пустое.... Так ты уж приходи, — еще раз пригласил он и поднялся.

— Спасибо! — сказал Пашка. — Приду.

Гуляли с шумом и гамом. Сначала во дворе, под открытым небом, потом пошел дождик и столы перенесли в избу. Гости у Викентия Ипатыча были разные. Просто соседи, знакомые, товарищи по работе. Был заведующий столярным цехом — совсем молодой еще паренек, техник. Он смущался, и подружка его смущалась. Зато именинница была заодно и затейницей. Распоряжалась, кому подлить, кому хватит уж, какие песни петь. Пробовал Пашка заговорить с Ленкой и ее подругами — не получается что-то, не вяжется разговор.

Тут пришел еще один гость — Александр Иванович. Ленка кинулась: «Дядя Саша! Дядя Саша!..» Штрафную выпил Александр Иваныч, и законных еще несколько рюмок. Раскраснелся, лысина вспотела, галстук рас-



пустил, а потом и пиджачок снял, подтяжки поправил. Один он сидел в галстукѣ да в подтяжках. Остальные попроще были. Рядом несколько мужиков сгрудилось и пошли анекдоты. Ха-ха-ха!.. Хо-хо-хо!.. Говорят, по смеху можно характер узнать. У Александра Иваныча смех был на «ха», смачный. Не понравился он Пашке.

Душно стало в избе. Окна раскрыли. Пашка вышел в сенцы покурить, и когда хозяйка с грибами в тарелке мимо шла, спросил:

— А кто это дядя Саша?

— Ты разве, Паша, не узнал? Помнишь, интендант был, складами заведовал? И мать твоя, покойница, у него работала. Теперь он председатель райпо.

— А, понятно.

Конечно, понятно было. Хозяйка, тетка Зоя, работала в райпо продавщицей.

Потом и мужики вышли курить. А Пашка к калитке отошел. Думал, Ленка заметит, подойдет. Но заметил первый Викентий Ипатыч. Обносил мужиков водкой, и ему поднес.

— Это ведь, Александр Иваныч, сын Евдокеи-то Тримасовой, — сказал он, кивнув на Пашку.

— Сын? А-а, — только и удивления было у Александра Иваныча.

Принялись вспоминать что-то из молодых лет, и все с хохотом. Про Евдокию Тримасову что-то говорили. Пашка подошел ближе. Сел за угол веранды на зава-линку. Александр Иванович ораторствовал. Когда-то мог, да... Да и сейчас еще ничего. Ни одну бабу не пропустит. А в войну тем более. На складах работал, с продуктами. Себя не обижал и баб подкармливал. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Евдокия Тримасова дольше всех не давалась. Да куда же ей было деваться? Ха-ха-ха!

Пашку, как огнем, ожгло. «Ах ты скотина. Парнокопытное ты! Да если бы не голод, Евдокия Тримасова и до ветру бы с тобой не пошла!» Тогда еще Пашка догадывался: из-за них, детей, чтоб с голоду не поумерли, унижалась она перед этим боровом. Однажды до полуночи не было ее дома. Пришла с рыбьим жиром в ведерке. Этот жир для ветаптеки предназначался. А дядя Саша на еду дал. Благодетель... Война же была... «Чем же ты, гад, хвастаешься теперь?!»

Та самая пружина, которая бросила его однажды

на Лешку Хряпова, заставила и теперь вскинуться и, словно по воздуху, двинуться на дядю Сашу.

Поздно догадался тот, чем дело пахнет. Пашка схватил его за галстук, за подтяжки и, как сноп, поднял с крылечка. То ли никто не успел удержать Пашку, то ли плохо держали, а бил он дядю Сашу, сколько душа просила. Тот падал на ступеньки, а Пашка поднимал его и снова бил, пока не расслабилась взметнувшая его пружина.

Шум был, вопли, угрозы... А Пашка как отвел душу, пусто стало, обидно, гадко. Повернулся, вытер слезы и, опустив голову, пошел.

— Все. Все, граждане. Теперь делайте, что хотите. Все...

Ночь Пашка по-старому, ничком, провалялся на той самой рогожке под черемухами, где днем читал книгу. Раза два принимался было плакать, но слез уже не было, одни всхлипы. Сильно измучился, многое передумал. Абрамыча вспоминал. Неужели прав старик? Боялся, как бы в драки Пашка не ударился, будто в том и состоит вся его беда. Перед матерью винился. И все рукой придержививал карманчик, чтобы не измять фотографию. Ох! Неужели опять залетел? Вот придут завтра — и возьмут. Не успел освободиться, а уже два таких случая!..

На рассвете Пашка сходил к колодцу, достал ведро холодной воды, окунул голову, слил, опять достал воды и напился так, что дрожь проняла. Легче стало. Сходил в сенцы за тулупом. Угревшись под ним, заснул и проспал чуть не до обеда. Потом лежал уже так, без сна. То казалось ему, что надо пойти виниться, то наоборот — ни в коем случае. Пусть знает дядя Саша, что морду не зря бьют. Не просто спьяну.

Вот какие дела... Но как бы сами-то вы поступили, граждане судьи? Скажете, можно бы пропустить мимо ушей, вроде, мол, не слышал. Допустим. Но ведь это была бы ложь. А еще можно бы встать и уйти, — упился, дескать, и домой пора. И это была бы ложь... Конечно, как все смертные, он оправдывал себя. Если бы нечем было оправдаться, то что же получилось бы? Хоть в петлю...

Но делать с Пашкой ничего не стали. Никто не пожаловался. Пронесло. Жена пострадавшего будто бы

даже довольна осталась — до сей поры дядя Саша поблудывал.

После обеда Пашка вышел в город. Ходил не спеша, раздумчиво, мыслил, как жизнь начать. Решил, что хватит гостить у бабки, надо ехать к Зинке. Вот только прописали бы. Все-таки областной город. Тут — и то трудно с пропиской. Но ведь надо же закончить училище. Значит, обязаны прописать. Что за жизнь без специальности?

В центре городка, на районной Доске почета, увидел Пашка знакомый портрет. «Ты смотри! — удивился он. — Это же та самая Валя. Как ее?.. Ага, Бойченко! Ну конечно! С тех пор еще, как из колонии переписка была, она, видать, все в передовиках ходит. Во дает!.. Наверно, как оседлала доску, так и сидит». Под фотографией, конечно, все расписано было. Сколько и от скольких коров молока надоено. Много надоено! Молодец, Валентина, как ее... ага, Ивановна!» А это еще что такое! Депутат... депутат районного совета... Ну дает! Уже власть. Да какой же она депутат? Это уж, наверно, для проформы, для счета. Мордашка же вон какая простая. А письма писала какие! Полудетские...».

В газетном киоске Пашка купил пачку газет и, усевшись на скамейку в скверике, просмотрел их. В районной газете «Серп и молот» здорово хвалили тот самый совхоз, где Валя работала. Целины подняли много, луга в пашню превратили и коров на летнее стойло перевели. Не ходят теперь коровы, не теряют зря калории, а стоят да лежат под навесом и готовую травку кушают. «Хреновина какая-то, — решил Пашка, — в одиночке сидишь — и то двигаться надо, а тут животное на привязи все лето. Чего ученые смотрят?»

Отложил Пашка газеты, покурил, посидел, подумал. А тут к райкомовскому зданию «газик» подкатил, шофер — пожилой внушительный дядька — вышел и тоже прошел в скверик. Сел, ключиком крутит.

— Закуривайте, — предложил Пашка и щелкнул портсигаром.

Шофер глянул на часы.

— Пожалуй, можно еще покурить. Спасибо.

— А далеко едете?

— В совхоз тут один, — шофер взял папиросу, закурил. — Есть тут передовой совхоз. Целинный.

Пашка хотел было спросить, не знает ли он там, случайно, Валю Бойченко, да вовремя схватился. Ни к чему распространяться.

— А я туда как раз собрался, — сказал он. — Кореш у меня там, из целинников. Парень молодой.

— Работать?

— Нет, посмотреть пока.

— А! Ну садись, довезем. Секретарь наш туда же едет.

К машине подошел невысокий грузноватый человек, позвал:

— Василь Петрович!

— Иду, иду, — отозвался шофер. — Тут попутчик у нас. Кореша хочет проведать, а может, на работу устроиться. Возьмем, Иван Борисыч?

— Садитесь. Прошу.

Пашке даже неловко стало, что с ним так вежливо большое начальство обращается. Поблагодарил и юркнул на заднее сидение.

Ехать было далековато. Дорогой шофер свои несогласия высказывал. И все время с присказкой: «Наше дело, конечно, телячье. Но все ж таки...» Все ж таки, зачем луга перепахали? Мужики возражали, так их не послушали. А теперь что? Комбайны тонут, и хоть хлеб хороший, да не возьмешь. А коровы в нахлебников превратились. Всю жизнь летом сами себя кормили, а теперь их, как барынь, кормят, чуть не из блюдечка. И пары... зачем пары-то похерили? Наше дело, конечно, телячье, но все ж таки... Секретарь отвечал ему, что дело жизнью проверено, зря Петрович сомневается. А тот свое. Какой жизнью? Чьей жизнью? Жизнью — это, значит, вся жизнь прошла на том. А тут что? Помозговал кто-то — и уже приказ готов... Даже Пашка в разговор встрял. Дескать, с его точки зрения, корову зря на цепь посадили в благодатное летнее время. Секретарь его возражения в шутку принял. Ну, мол, старый да малый напали на одного!

В совхозе «газик» у конторы остановился. Пашка спасибо сказал и пошел искать Валин дом.

В деревне показалось ему необычно тихо, хотя и шла уборка. Где-то рокотали трактора и комбайны, пылили по дорогам грузовики, шумел и тархтел зерновой двор с высокими сушильными агрегатами. Но все же

пульс здешней жизни казался неспешным, даже солнце светило вроде бы размеренно, задумчиво. Черемухи вдоль изгородей, разламываясь на стороны, чернели ягодами, на огородах лоснилась еще не пожелтевшая ботва. Медленно бродили утки, куры. Редкие прохожие не спешили.

На черемухе, склонившейся над изгородью, галдело с полдюжины ребятишек. Расхристанные, босые, до ушей измазанные темно-фиолетовым соком, они охотно вступили в разговор.

— А ты кто будеш-ш? — свешиваясь с сучка, спрашивал самый маленький.

— Я-то кто буду? А я и сам не знаю, кто, — засмеялся Пашка. — А ну-ко, орел-космонавт, скинь мне веточку.

— А ета... нам ломать не велят. Если хошь, залезай сюды.

— Правильно. Ломать не надо. А кисточки срывать можно. Вот ты кисточку сбрось.

И все пацаны стали сбрасывать кисточки с черемухой.

— Хватит, хватит! Спасибо, ребятушки!

— А ты не сказал, кто ты?

— Да я тут в гости к одним... Бойченко знаете?

Да как же не знать! Все распрекрасно знали Бойченков. Вон там, возле новой бани, изба ихняя. Тоже новая, из брусьев, а из пазов пакля торчит. Сама-то Ефимья в больнице. А Валька дома. Недавно с фермы прошла. Коров подоили.

Дверь была заперта. Пашка присел на крыльце. Может, к соседям Валя ушла. Сидеть стало скучно. Он прошелся по двору, заглянул в огород. Подзапущен огород, сору много. Посреди двора валялся зазубренный топор. Пашка взял его и принялся рубить хворост, наваленный у изгороди. Топорище было не стругано почти. «Эх, руки чьи-то делали! Не руки, а крюки!» Но тут же Пашка устыдился, догадавшись, что это женская работа. Значит, в доме нет мужика. Он рубил хворост, ахая и приседая. Снял пиджачок, разогрелся, рукава закатал, на ладонях розовые мозоли стали проступать.

— Стоп. Перекур, — сказал он сам себе, воткнув топор в чурку.

Скрипнула калитка, кто-то кашлянул. Пашка обернулся и увидел Валю.

— А вот и я, — сказал он. — Пришел, а вас нету. Здравствуйте!

Валя, видимо, не узнавала Пашку. Уже год прошел, как кончилась их переписка.

— Ну что — не узнаешь?

— Да узнала уж. Здравствуй, — без особой радости ответила Валя, и это слегка задело Пашку.

Он рассматривал ее. Одно дело фотография, другое — живой человек. Валя была плотная, круглолицая, курносая, с веснушками и голубоватыми круглыми глазами. А на фотокарточке подретушированная была, так смуглой казалась. На ней широкое ситцевое платье без пояса. Волосы не прибраны. Словом, не готовилась встречать гостей. Протянув руку, она вдруг расхохоталась:

— А это, между прочим, не моя изба-то. Соседская. Лелькина. Вот обрадуется! Целую поленницу дров нарубили!

Пашка смутился.

— Пошли, что ли, — пригласила она. — А я легла отдохнуть, да слышу — рубят и рубят. На Лельку не похоже. Ленивая, белоручка — из выселенных. Мужиков наших только разлагает. Хотим вот проработать.

Час от часу не легче. Наверно, треп пойдет: тунеядке дров нарубил... Хотел же как лучше.

Пошучивая насчет того, что с соседки придется требовать поллитровку, Пашка пошел рядом с Валею.

Хата была обыкновенная, деревенская. На старом, грубо сколоченном столе стоял дорогой радиоприемник. Такой же новый и дорогой, с зеркалом, шкаф стоял в правом переднем углу. А прочая мебель давно отжила свой век. Словом, достаток был, а насчет вкуса — не густо...

Пашка хотел за поллитровкой сбегать, но Валя отговорила — ей скоро доить. Все же передовая доярка. Неудобно пьяной на работу являться. Есть домашняя брага — и довольно.

Собрала на стол. Борщ из печи вынула. Сала шматок из подполья достала, с чесноком. Перец соленый.

Меж делом Валя приделась, прибрала волосы, подкрасила брови.

— За встречу! — сказала она, поднимая стакан.

— И за твои депутатские успехи! — добавил Пашка.

Когда выпили, она спросила:

— Откуда ты знаешь про депутатство?

— Читал в газетах.

— Да вот... Завтра на сессию вызывают. Готовиться пора.

О том, о сем поговорили.

— Ты мне не таким... серьезным казался, — сказала Валя. — Вон какие письма писал!

А Пашка и не старался быть серьезным. Наоборот, его как прорвало. Под Мишку-Галилея разговаривал. А вообще-то самый бы человеческий разговор завести, как выпили. Так она построжала чего-то.

— О чем ты думаешь? — спросил Пашка. — Чего еще надо? На столе все есть. Хорошо! Давно я так не выпивал, вдвоем.

— Да вот думаю, как тебе помочь. Сейчас люди нужны на селе... Ну и ты вот приехал. Всякий сознательный молодой человек должен отдать себя подъему сельского хозяйства.

— Вон какая ты серьезная! — покачал головой Пашка. — Аж страшно.

— А ты не шути. Я дело говорю. Может, сначала в общежитии поживешь? А там видно будет. Помогут. Я помогу, как депутат. И в части перевоспитания поможем.

Пашку так и подмывало наговорить ей колкостей да послать подальше с ее нравоучениями. Но он сдерживался, как бы поддакивал и удивлялся ее рассудительности.

— Ой, хороша бражка, давно не пил такую. Молодец, умеешь делать!

А врал про бражку-то, врал. Не очень она ему нравилась. Дурачком прикидывался. «Пусть поучит, а мы посмотрим».

— Конечно, ты и сам должен сознательность иметь...

Ох, боже ж ты мой! Учит жить, как правдашняя. Два глазка, как два пупка, а уже перевоспитывать... Да знаешь ли ты что-нибудь, кроме коровьих титок, милая? Воспитатель... Надо же! Выдвинули ее за то, что работала хорошо. Так она думает, что от этого сразу и

поумнела. А ни одной вон книжки в доме не видно. Быть депутатом — это ж, милая, надо государственное соображение иметь, а она думает, одного положения довольно.

Так думал Пашка, а сам под Мишку-Галилея актерствовал:

— Скажи ты мне, Валюша... виноват, Валентина Ивановна. Где вы ту науку изучаете, по которой людей воспитывают и всеми делами управляют? Ведь это же какое мудрое дело! Для меня, например, это лес темный. А ты — депутат. Можно сказать, государство на тебе держится.

Валя, конечно, не стала объяснять ту науку, про которую Пашка спрашивал. Усмехнулась, бровки вскинула.

— Есть решения, Пашенька. И нужно их выполнять. Вот и все.

А Пашка будто уши развесил:

— Во-от оно что! А кто те решения делает?

— А те, кто поумнее нас, — нахмурилась Валя.

— А-а, ну да. Конечно.

Нет, не понравилась ему Валя, не тот человек, что в письмах казался. Он продолжал прикидываться. Вошел в роль, совсем вошел. Выпил еще стаканчик, и еще.

— Знаешь, Валюша, — у нас в колонии одному фраеру весь курятник тросом снесло!.. Не знаешь, что такое курятник? Ха-ха-ха! Да это же голова — глупая голова, по-нашему. — Пашка постучал себя по лбу. — А насчет меня ты зря беспокоишься, зря. Испорченный я человек. Окончательно... Закурим, Валя?

Она покачала головой.

— Я же какой парень? Чуть что — в морду. Я вот неделю на свободе, даже меньше, а уже два раза подрался... И еще я должен тебе покаяться, Валюша. Письма те не я тебе сочинял, нет. У нас там был один... поэт. Вот мы у него и переписывали. Плагиатом занимались.

Эх, переиграл. Зря это слово сказал. Подумает: «Ишь, умный какой. Слова какие знает...»

Валя, одной рукой подперев подбородок, а другой постукивая вилкой о столешницу, спросила:

— А последнее письмо?



— Последнее? И последнее он помог написать. Поэт наш. Да разве же сам я смог бы так? Ха-ха-ха, ч-чудачка!

А потом и вовсе переиграл Пашка — много выпил. О книгах стал говорить, о поэтах разных. Увлёкся, глаза разгорелись, вдохновение напало. И догадалась Валя, что он темнит.

— Знаешь, — сказала она, — я не дура, чтобы меня разыгрывать.

Встала и к окну отвернулась.

«А кто же ты?» — хотел выпалить он, но вовремя язык прикусил.

— Думаешь, держать тебя стану? Да господи... — А у самой голосишко дрогнуло.

Пашка спохватился.

— А ты что... шуток не понимаешь? Ха-ха-ха!

Но смех у него получился неестественный, и он еще больше смутился, протрезвел даже. Помолчал и, поостыв малость, сказал обычным своим жестковатым тоном:

— Да... Натрепался я тут. Не ругай... или как хочешь. Разные мы люди, Валя. Шибко разные. Меня так жизнь учила, тебя этак. Может, все к лучшему, — рассудил он напоследок.

...С попутным самосвалом добрался Пашка до городка, переночевал еще у бабки, потом уложил чемодан, нагрузил помидоров для Зинки и отправился на станцию.

Через сутки приехал в областной город. Зинка и зятюха встретили без особой радости. Ясно — лишняя забота. Уколы, подковырки. В заключении-то еще больше, поди, испортился. Не сказали так, конечно, а догадаться можно. Сказали, пора, мол, за ум браться.

Насчет того, чтобы у них жить, поломались еще, подумали. Потом кладовку уступили. Пашка сам ее под жильё переоборудовал, заштукатурил, побелил, полочку для книжек сделал. Жить можно. А раз жильё есть, то и прописать могут. Пошел прописываться. Прописали, слава богу.

А так подумать — чего делить Пашке и Зинке с зятюхой? У них своя логика насчет жизни, у него своя. По-ихнему, Пашка должен все в дом тащить, выслуживаться, карьере делать. А для него все это чепуха на

постном масле! Зинка официанткой работает. Зарабатывает неплохо. Зятюха шофером. И тоже — с места не сдвинется, если рубль впереди не маячит! «Интерес должен быть!» Только и бубнит про этот «интерес». Квартира у них — так себе. Зато мебель дорогая. Не притронься, не дыши на нее. И в холодильник не смей заглядывать. Один человек в доме — Нюрка, племянница, и ту оберегают, как бы дурно не повлиял. Пашка как-то сказал при Нюрке, что нечего детям врать, не такие уж они дураки, так Зинка истерику закатила — не лезь не в свое дело....

Сильно разволновался, когда зашел в знакомый сквер. Вот он, родненький! Сосны, лиственницы, елки, акация, клены, орех маньчжурский. Дорожки желтым песком посыпаны. Скамейки... Скамейки новые.

А вот парадный подъезд. Коридор, кованая, гулкая лестница. Дверь в учебную часть Дежурный — салага в морской форме. «Приветик!» С ходу открыл дверь:

— Здравствуйте!

— Это еще что такое? — проворчал сидевший за столом речник, не отрывая глаз от бумаг. Это был командир Пашкиной роты.

— Я ведь без формы, товарищ капитан третьего ранга, — сказал Пашка. — Извините, конечно.

Капитан поднял глаза, карандаш отложил.

— Постой-ка, постой. Как тебя... Тримасов? Вернулся уже?

— Да, представьте, — Пашка переступил с ноги на ногу. Обидно стало. «Уже»... А надо было еще посидеть, что ли?

— Так, так, так... Ну-ну. Все такой же колючий? — рассмеялся капитан.

— А совсем без колючек нельзя.

— Так, — вздохнул капитан. — Ну садись. Военную дисциплину не забыл еще?

— Военная плюс тюремная, — присаживаясь на стул, ответил Пашка.

— Ну- ну. Так-так...

Расспросив и выслушав Пашку, он повел его к начальнику училища. Начальник теперь был другой. Выслушал он капитана, потом Пашку.

— А-э... И рад бы душой, да грех большой. Не могу, дорогой, не могу. — Вздохнул с сожалением. — Дисци-

плина у нас, сами знаете, строгая. За малейшее нарушение... м-м-м... сами знаете.

Капитан заступился было. Пашка, мол, учился хорошо, с инженерными задатками человек, начитанный, и спортсмен был хороший. За честь училища стоял.

— За честь... за честь... — вздохнул начальник. — А подвел ведь. Все училище подвел, комсомольскую организацию... А? Так ведь? — И опять вздохнул. — Не могу.

Расстроился Пашка, слезы на глаза навернулись. Не прощаясь, вышел из кабинета. В коридоре догнал его капитан.

— Ты вот что, парень. Шибко не вешай нос. Напиши министру просвещения. Так, мол, и так. Объясни все. Моряк, мол, душой, хочу плавать. Придет ответ — это документ. А с документом легче разговаривать.

Пашка покашлял сквозь комок в горле и пошутил:

— Да, да. «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой челове-ек»

— Ну-ну, брось это. Так напиши. Договорились?

Вечером Зинка сказала, что может похлопотать за Пашку. В ресторане есть такой отдельный закуток, где важные лица столуются, так Зинка вхожа туда. «Не надо унижаться!» — сказал Пашка. И получился скандал. Дурак Пашка, жить не умеет. Людей не уважает, заботы их не ценит. И вообще свинья. Пашка даже ужаснулся. Откуда столько злости у Зинки? И за что? Ах, да — он ведь подвел ее. Честь семейства замарал, в тюрьму попал. А она такая порядочная, такая правильная! Да за одно то, что вся семья голодала, пока ей приданое справляли, должна бы ты благодарить своих братьев. А ты что? Вот ты-то и есть свинья. Получился скандал.

Ночь Пашка провел без сна. Раздумывал, как быть. Письмо министру все же написал.

...Шли дни. Много дней прошло. А Пашка еще не выбрал себе дорожку, не прибился к берегу. Послал запрос насчет заочного обучения в речном техникуме. Был на ДОКе, посмотрел, какая там работа. Объявлений в газете много было насчет работы, и немало уже мест обходил Пашка. На ДОКе больше понравилось. Мускульная работа и здоровая. Стружки, опилки, за-

пах смолы, лес. Но хоть Пашке там и понравилось, а не устроился он на работу. Вроде бы толкал его кто-то, куда попало. Да как еще встретят на ДОКе, а то и хуже, чем в училище...

И опять ходил по городу. Домой возвращался поздно.

Часто встречались знакомые. И все на один манер привечали — выпить, выпить по такому случаю! Настроение поднять. Ну как не выпить за встречу? Раз выпить с тобой хотят, значит, уважают. Ломаться не будешь. Еще подумает человек, что злобу таишь. Поставят Пашке бутылку — и он поставит. Обязательно. Такой характер, так воспитан.

По утрам просыпается и думает: все, к черту все эти «обмывки». Надоело, тошнит уж. Друзей по улице много, со всеми не перепьешь. Тут Зинка права, правильно пилит. Но едва выйдет в город, — опять друзья встречаются...

Как-то вечером встретил капитана буксира, где проходил практику, пошли в «ржавый якорь» — столовую, где давали спиртное. Капитан — богатырь, ведро одолевает. Ну и Пашке в долгу оставаться нельзя.

Вышел из «якоря» уже в голубых сумерках, когда столовые закрылись. В глазах все качается. Было уже холодно. В небе, как и тогда над кладбищем, висела луна. Пахло первой пожелтевшей листвой. Осень...

— «Как эта глупая луна на этом глупом небосклоне!» — процитировал Пашка. Дальше стихи не пошли. Он глубоко, через нос, задышал и двинулся через площадь. На лицо оседали капельки влаги — сгущался туман.

Благополучно, но все так же качаясь, как трава на ветру, дошел до конца площади, откуда переулок начинается. Тут стоял фонарь, а рядом молодой клен. Вершина его серебрилась и казалась двухслойной — от двойного света луны и фонаря, и на асфальт он отбрасывал резную, узорчатую тень.

— Кле-ен ты мой кудрявы-ый, — запел Пашка, — умиляясь дереву и тени его. — Кленушка! Да и какой же ты хороший! Давай обнимемся, друг ты мой хороший!..

Он обнял клен и, покачиваясь, стал наблюдать собственную тень.

— Мы и тени... Мы и наши тени, — бормотал Пашка, бормотал насчет того, что одни свет излучают, другие тень кладут на ниву жизни. Философствовал.

— И-и не знаю, кто я, свет я или тень я, — пропел он и громко крикнул: — Не-не хочу тень! Хочу свет!..

От клена он перешел к тополю, уперся в него лбом, ощутил запах стареющей коры. Он хотел еще поговорить — хорошая мысль блеснула — насчет того, что нет никому дела до того, как живет Пашка Тримасов. Никому! А может, он ко дну идет и нужен ему спасательный круг? А люди не замечают. Им некогда, они собой заняты, холодильниками, мебелью. И слово какое-нибудь хорошее сказать некому... А нужны праведные слова — стопроцентно праведные. И лишь тот на них имеет право, кто сам стопроцентно человек — честный человек. Конечно, сеструха ругает, учит, как жить. Да разве же она имеет право учить? Так жить, как вы? Нет уж, увольте!

Эх, еще одна хорошая мысль просветлилась, да утонула, улетучилась. Не вспомнишь...

Он стал дремать. Но помнил, что спать надо стоя, только стоя. А то простудится. Легкие у него слабые, отцовские. И в карцере он всегда помнил про это и спал всегда на животе, подобрал руки и ноги.

А пока дремал, та самая мысль, что блеснула и погасла, опять высветилась. «К черту, к черту! Няньки нужны, что ли? Сочувствие сопливое нужно? Ах, ох, несчастный ты наш Пашенька милый, ни за что пострадавший!.. Никто так не скажет. И не надо. Мелко. Какие еще спасательные круги? Кто их бросит? Ч-челуха. И то хорошо, что люди нормальные встречались. Больше нормальные. Так что гребь сам, получше гребь! Назло всем чертям! Полный вперед!»

Наконец, оторвался от дерева и, собрав силы, потопал к дому. Впереди шел тоже пьяный человек и пел одно и то же: «Хорошо-о-о. Хорошо. Хорошо-ошо! Хорошо». Пропоет два слова, чуть помолчит и опять. Шел довольно прытко, Пашка пристроился в кильватер, но не смог догнать.

Однако не опорчился. Даже приятное предчувствие в груди шевельнулось. Да еще ветерок задул — упругий такой, свежий, и с этим ветерком как бы вдохновение нахлынуло. Полный вперед!.. А вообще осень при-

шла. Ясная, ядреная пора. Сентябрь. На Амуре это самый красивый месяц. Какие берега, какие берега, когда плывешь по реке! Вспомнил Пашка практику свою на буксире. Сентябрь захватил. Сопки — что твои шатры да купола разноцветные. Каждое деревце светится: вот я какое! А вода — как стекло полированное, и все отражается в ней. Два сказочных царства. Одно выше, над водой, другое в воде, в самой глубине. И ветерок навстречу — крепенький, не летний уже, но и не злой еще. И ждешь что-то такое хорошее. Полный вперед!

Добрался до дома, открыл дверь сам, чтоб никого не будить, забрался в свою кладовку. Это который же раз он так вот возвращался домой? Седьмой, а может, восьмой раз подряд. О, господи! Улегся и приказал себе не шевелиться, глубже дышать носом. Побольше кислорода, побольше... Так и заснул.

Среди ночи сделалось тяжело. Будто он лежал в пустыне, опаленной нестерпимым зноем, и его засыпало горячим песком. А кругом разливался мертвенный металлический свет, и что-то звенело, звенело, и как бы все выше, выше ввинчивалось в небо, и все больше тревоги было в этом звоне. И никого кругом, кроме него... Потом еще больше посветлело, и стало легче. И в этом металлическом свете он рассмотрел женщину — ту, о которой тосковал в лагере, которую создал в своем воображении. Красивая... Они были незнакомы, но знали, что известны друг другу. В ее глазах — укор. Потом она улыбнулась, села на край постели и стала гладить его по голове, тихо приговаривая что-то утешительное.

Сознание подсказывало, что все это бред, что никого в комнате нет. Но все же что-то было рядом с ним, не отпускало и держало в сомнении и страхе.

Потом он снова забылся, а когда открыл глаза, в комнате было уже светло и на краю постели в самом деле сидела женщина. Это была Зинка.

— Пашка, слышь, Пашка, — трясла она его. — Не хорошо ты стонешь. Заболел, что ли? — Потом почуяла запах перегара и стала ругаться: — Опять нажрался? Разве для того на свободу вышел? О господи, и что только с тобой будет!..

Пашка приподнялся, свесил с кровати босые ноги, волосы ладошкой пригладил. Голова не болела. Стран-

но... И вообще, на душе было как-то ясно, даже спокойно, не как раньше.

— Зинка, ради бога, не ругайся, — сказал он. — Не такой уж жалкий я пропойца, чтоб, тебя не видя, умереть...

— Бредишь...

Он слабо улыбнулся, и Зинка перестала ругаться, удивленная тем, что он не огрызается.

Тут вошел почтальон и подал Зинке сразу два конверта. Она прочитала адреса и протянула их Пашке.

— Тебе.

Пашка сразу читать не стал, хотя уже понял, откуда почта. Одно письмо из министерства просвещения, другое — из техникума. Сначала он сбегал к сараю, где на столбах был устроен душ. Освежился как следует. Он сам не знал, почему, но этот день был концом старой жизни — это точно. Что-то такое переборол он сегодня ночью, переболело что-то.

Лишь после того, как побрился, оделся, чай вскипятил и налил себе большую фарфоровую чашку, Пашка пошел и взял оба конверта. Пил чай, свежела голова, светлела. И так за чаем, будто деловой человек, с самого утра он прочитал свою почту. Из министерства ему разъясняли: «Вы имеете право на поступление в заочный речной техникум», а техникум просил слать документы.

— Все ясно... все ясно, — вслух говорил Пашка. — А мы и без вас уже решили. Вот так. Мы сами.

Зинка прочитала письма. Вроде, довольная осталась.

— А с работой как?

— Пойду на ДОК. Все. Хватит. Хорошо...

В это утро Пашка написал даже стихи:

Кирыл... Безутешно кирыл  
И бродил, как побитый пес.  
И что-то терял я, терял,  
И больно мне было до слез.  
В душе нес я муть и слякоть  
И было — ни зги впереди.  
И все мне хотелось плакать  
На чьей-то хорошей груди.  
Тревожно мне было, больно.  
Но мне ли не знать предела!  
И я говорю: довольно!  
За дело, мой друг, за дело!..

Вообще-то, он подражал кому-то. Но разве это так уж важно? Важно, что сочинились эти строчки легко и просто, как родились, как будто сами искали друг друга.

«За дело, Пашка Тримасов!» — добавил он прозой и поставил жирную точку.



Рыбаки.

Фото Ф. Дунаевского.